

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

Восемь повестей об украинской народной жизни, в которых реальность мешается с фантастикой, а комедия — с хоррором. Книга, изданная под именем малообразованного пасечника, стала для Гоголя пропуском в большую литературу, а для многих поколений русскоязычных читателей сформировала каноничный образ Украины. Чернобровые панночки, удалые парубки с чубом, аппетитные галушки и горилка — все это мы живо представляем именно благодаря «Вечерам».

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

Гоголь начал писать «Вечера» в 1829 году: юный писатель совсем недавно переехал из Нежина в Санкт-Петербург, где терпит неудачи на актерском поприще, а затем и на литературном — убитый язвительными отзывами, он выкупает все доступные экземпляры своей первой поэмы «Ганц Кюхельгартен» и сжигает. Спасительной оказывается идея написать что-нибудь на тему Малороссии. Он забрасывает мать просьбами прислать как можно больше подробностей о жизни на родине: как одеваются сельские дьячки и крестьянские девки, как справляют свадьбы, какие существуют народные поверья и предания. Гоголь берется за тему не из-за ностальгии: в столице в это время бушует мода на всё украинское. Выпускаются книги («Малороссийская деревня» Ивана Кулжинского, «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» Антония Погорельского, «Сказки о кладах» Ореста Сомова), ставятся оперы («Леста, днепровская русалка» Николая Краснопольского,

«Пан Твардовский» Алексея Верстовского, «Козак-стихотворец» Александра Шаховского). Гоголь заканчивает работу над циклом к концу 1831 года — он успевает не только присоединиться к актуальному литературному тренду, но и, по сути, стать его лицом: со временем начинает казаться, что именно гоголевские «Вечера» открыли «малороссийскую тему» в русской литературе.

КАК ОНА НАПИСАНА?

Очень по-разному. Повести «Вечеров» принадлежат нескольким жанрам: сказка-анекдот, сказка-новелла, сказка-трагедия. Гоголь намеренно располагает их в таком порядке, чтобы контраст между повестями выглядел еще ярче: например, за лихой вертепной историей о кузнеце и черте («Ночь перед Рождеством») следует готическая легенда о жутком колдуне («Страшная месть»), а затем — нелепый рассказ о сватовстве великовозрастного поручика («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»). В большинстве своем повести написаны простонародным языком с использованием колоссального количества украинских диалектизмов. На хуторе близ Диканьки, по выражению Андрея Синявского, «не могут связать двух слов, не упомянув черта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум невообразимых путрях и пундиках». Гоголевские рассказчики игнорируют не только литературные нормы, но порой и приличия, наполняя содержание повестей руганью, побоями, пошлыми интрижками и бестактными анекдотами («Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И так много дряни всякой



Улица в селе Диканьке. Фотография Иосифа Хмелевского на открытке. 1910-е годы

на земле — а ты еще и жинок наплодил»). Наряду с этим здесь то и дело находится место для высокопарного слога («Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее: с середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он»).

В «Вечерах» впечатляет не столько сюжет, сколько необычная живописность стиля. Это замечал Андрей Белый: сюжет у Гоголя «скуп, прост, примитивен в фавеле; ибо дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в ее красках, в ее композиции, в слоговых ходах, в ритме». Эта живописность находит и прямые

художественные аналогии: западные литературоведы нередко сравнивают стилистику «Вечеров» с картинами Иеронима Босха и Франсиско Гойи¹. Открывающая же цикл «Сорочинская ярмарка» сопоставляется с картиной Питера Брейгеля Старшего «Страна лентяев»²: сквозь ощущение праздности и изобилия, так же как и у Гоголя, здесь все отчетливее проступает чувство тревоги и страха.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Во-первых, этнографические сведения, которые исправно высылала мать писателя по почте, а также комедии отца Василия Гоголя-Яновского*¹ (некоторые цитаты из них стали эпиграфами к «Сорочинской ярмарке»). Во-вторых, книги на украинскую тему, которые Гоголь внимательно и методично изучал, — в особенности для замысла писателя оказались важны «Русалка. Малороссийское предание» Ореста Сомова (1829) и «Энеида» Ивана Котляревского (последние ее части были написаны в первой половине 1820-х). В-третьих, множество украинских песен, вертепных драм, былишек, сказок, легенд. Из фольклора Гоголь, к примеру, позаимствовал сюжеты поездки на черте, свидания черта с ведьмой, поисков цветка папоротника и мотив призрачности богатства, полученного от нечистой силы.

Украинский фольклор в «Вечерах» Гоголь скрещивает с эстетикой немецкого романтизма: важное влияние на писателя оказали литературные сказки Гофмана и Людвиг Тика*². При этом нельзя сказать, что Гоголь первым догадался совместить

романтические установки с украинским колоритом: к концу 1820-х годов Малороссия уже воспринимается литераторами как визитная карточка русского романтизма (конкурируя в этом качестве с Кавказом).

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Самой первой в печати появилась повесть «Вечер накануне Ивана Купала» — она была опубликована в февральском номере «Отечественных записок» за 1830 год. Однако Гоголь остался недоволен многочисленными редакторскими правками Павла Свиньина*³ и от дальнейших журнальных публикаций отказался. Зато благодаря дебюту в престижном издании начинающий писатель обзавелся знакомствами в литературных кругах, теперь ему покровительствовал критик Петр Плетнев, который и посоветовал объединить все повести фигурой вымышленного издателя (примерно в это же время к такому приему прибегает Пушкин в «Повестях Белкина», а до него — Вальтер Скотт). Гоголь выпустил «Вечера»

*¹ Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777–1825) — госслужащий, драматург и поэт. Отец Николая Гоголя. В 1812–1825 годах был директором и актером домашнего театра царского вельможи Дмитрия Трощинского, для которого написал несколько водевилей и сказок, вдохновленных украинским бытом. Самые известные — «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом» и «Собака-овца».

*² Людвиг Иоганн Тик (1773–1853) — писатель, поэт и переводчик, один из ключевых авторов немецкого романтизма. Написал роман «Странствия Франца Штернбальда», множество сказок, в том числе трехтомные «Народные сказки Петера Лебрехта» — сборник переделок и подражаний средневековым историческим легендам.

*³ Павел Петрович Свиньин (1787–1839) — писатель, редактор, журналист, дипломат и коллекционер. Первый издатель литературного журнала «Отечественные записки», автор исторических романов «Шемякин суд» и «Ермак, или Покорение Сибири». Многие современники в литературном сообществе относились к Свиньину снисходительно и попрекали за неискренность и стремление выслужиться.

двумя книжками (первая вышла в сентябре 1831 года, вторая — в марте 1832-го). Любопытно, что книжную версию повести «Вечер накануне Ивана Купала» Гоголь предварил специальным предисловием, где в шуточной форме дистанцировался от журнального варианта повести. Рассказчик Фома Григорьевич, слушая пересказ своей же истории из «небольшой книжечки», приходит в негодование: «Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучий москаль*. Так ли я говорил? *Що-то вже, як у кого черт-ма клепки в голови*». Впрочем, каких-либо других свидетельств жесткой правки Свиныным «Вечера накануне Ивана Купала» не существует — автограф журнальной редакции повести не сохранился, а стилистическая переработка книжной версии в целом соответствует общей эволюции гоголевского стиля³.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Широко известен восторженный отзыв о «Вечерах» Александра Пушкина: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались “Вечера”, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою»⁴. На самом деле историю о наборщиках Пушкину рассказал в письме сам Гоголь⁵:

Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня,

давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. <...> Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни.

Претензии в первую очередь предъявлялись Гоголю насчет стиля. Об этом, в частности, рассуждал Фаддей Булгарин⁶: «Прочел предисловие — и утомился. Развертываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия и длинного описания бугров и рощей». Михаил Загоскин (со слов Сергея Аксакова) нашел в гоголевском дебюте «неправильность языка, даже безграмотность»⁷. Пожалуй, самый гневный отзыв принадлежал Николаю Полевому, в своей критической статье он решил обратиться к анонимному автору напрямую: «Во-первых, все ваши сказки так не связны, что, несмотря на многие прелестные подробности, которые принадлежат явно народу, с трудом дочитываешь каждую из этих сказок. Желание подделаться под малоруссизм спутало до такой степени ваш язык и все ваше изложение, что в иных местах и толку не доберешься»⁸. Полевой выразил уверенность, что автор «Вечеров» не имеет ничего общего с Малороссией («Довольно, мы видим, что вы самозванец-Пасичник, вы, сударь, Москаль, да еще и горожанин»), из-за чего позже стал объектом ехидных шуточек.

В целом реакция литературных кругов на книгу была для Гоголя ободряющей. Андрей Синявский в работе «В тени Гоголя»

писал, что молодой дебютант «очаровал Петербург галушками, козачком, горилкою, простонародными байками, песнями и легендами, толком не зная ни той страны, откуда все это вывез, ни той, в которую это привез». На первых порах в литературных кругах ему простили и фактические неточности, и шероховатость стиля: «Провинция, внушая снисхождение, себя оправдывала, собою прикрывалась (только потом догадались, какое лихо явилось к нам из провинции, да было поздно — Гоголь заполнил столицу)»⁹.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Гоголь довольно быстро охладел к своей дебютной книге — уже в 1833 году в письме Михаилу Погодину он отзываясь о ней

раздраженно: «Я даже позабыл, что я творец этих “Вечеров”, и вы только напомнили мне об этом. <...> Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня». Пренебрежение автора к циклу заметно и в предисловии к первому собранию сочинений, предпринятому в 1842 году: «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались первые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их...»

Такое же снисходительное отношение к «Вечерам» переняла и критика: долгое время ранняя проза Гоголя рассматривалась исключительно в контексте «Шинели» и «Мертвых душ». Характерно в этом смысле едкое замечание Владимира



Дворец князя Кочубея в селе Диканька. Дореволюционная открытка

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Это что за невидаль: “Вечера на хуторе близ Диканьки”? Что это за “Вечера”? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».

Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! — Это все равно, как случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу... Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался — плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), — у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, — тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор,

шум... Это у нас *вечерницы*! Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для бала, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрывают в хату парубки с скрипачом — подымеется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого^{*1} халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем^{*2}, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал

*1 Грубая ткань пестрой окраски.

*2 Топленый жир.

нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории *¹. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать — вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на *ус*. Лопата у него — лопатус, баба — бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хвать его по лбу. «Проклятые грабли! — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин. — Как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереде комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»... «Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича

*¹ Межевой судья.

так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий кныш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к кнышу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости Господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового года и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдете побасёнки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, — лень только проклятая рыться, — наберется и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» — «А вот там!» — скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич, третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.

Зато уже как пожелуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот — дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза

или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло, так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху*¹ с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам подчас есть пугрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному.

Пасичник Рудый Панько.

*¹ Водка, сваренная с медом, ягодами и пряностями.

На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.

Банду́ра, инструмент, род гитары.
Бато́г, кнут.
Боля́чка, золотуха.
Бо́ндарь, бочар.
Бу́блик, круглый крендель, баранчик.
Буря́к, свекла.
Буха́нец, небольшой хлеб.
Ви́нница, винокурня.
Галу́шки, клёцки.
Голодра́бец, бедняк, бобыль.
Гопа́к, малороссийский танец.
Го́рлица, малороссийский танец.
Дивчи́на, девушка.
Дивча́та, девушки.
Дижá, кадка.
Дрибу́шки, мелкие косы.
Домови́на, гроб.
Ду́ля, шиш.
Дукáт, род медали, носится на шее.
Зна́хор, многознающий, ворожея.
Жи́нка, жена.
Жупа́н, род кафтана.
Кагане́ц, род светильни.
Кле́пки, выпуклые дощечки, из коих составлена бочка.
Кныш, род печеного хлеба.
Ко́бза, музыкальный инструмент.
Комо́ра, амбар.
Кора́блик, головной убор.
Кунту́ш, верхнее старинное платье.
Корова́й, свадебный хлеб.
Ку́холь, глиняная кружка.
Лысый дидько, домовый, демон.
Лю́лька, трубка.
Маки́тра, горшок, в котором трут мак.
Мако́гн, пест для растирания мака.

Малаха́й, плеть.
Ми́ска, деревянная тарелка.
Молоди́ца, замужняя женщина.
На́ймыт, нанятой работник.
На́ймычка, нанятая работница.
Оселе́дец, длинный клочок волос на голове, заматывающийся на ухо.
Очи́пок, род чепца.
Пампу́шки, кушанье из теста.
Па́сичник, пчеловод.
Па́рубок, парень.
Пла́хта, нижняя одежда женщин.
Пе́кло, ад.
Пере́купка, торговка.
Перепо́лох, испуг.
Пе́йсики, жидовские локоны.
Пове́тка, сарай.
Полу́табенек, шелковая материя.
Пу́тря, кушанье, род каши.
Рушник, утиральник.
Сви́тка, род полукафтаны.
Синдя́чки, узкие ленты.
Сласте́ны, пышки.
Сво́лок, перекладина под потолком.
Сливя́нка, наливка из слив.
Сму́шки, бараний мех.
Со́няшница, боль в животе.
Сопи́лка, род флейты.
Стуса́н, кулак.
Стри́чки, ленты.
Тройча́тка, тройная плеть.
Хло́пец, парень.
Ху́тор, небольшая деревушка.
Ху́стка, платок носовой.
Цибу́ля, лук.
Чумаки́, обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.
Чупри́на, чуб, длинный клочок волос на голове.
Ши́шка, небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.
Юшка, соус, жижа.
Ятка, род палатки или шатра.

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

«Миргород» — третья книга рассказов Николая Гоголя после «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в двух частях и «Арабесок» (причем «Арабески» и «Миргород» вышли почти одновременно). Действие повестей, вошедших в «Миргород», происходит — как и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — на Украине. На преемственность двух книг прямо указывает издательский подзаголовок — «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки»». Но если в первой книге прослеживается скорее сказочно-фольклорное настроение, то во второй Гоголь показывает разные аспекты и даже разные полюса украинской жизни: героико-эпический («Тарас Бульба»), приземленно-комический («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), мистико-фантастический («Вий»), иронико-идиллический («Старосветские помещики»). Соответственно, герои повестей — представители разных социальных страт: казаки, помещики, городские обыватели и бурсаки (семинаристы).

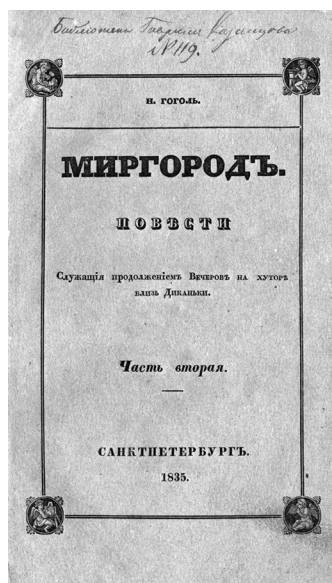
КОГДА ОНА НАПИСАНА?

Работа над повестями датируется 1833–1834 годами. В этот период Гоголь преподает в Патриотическом институте — петербургском женском учебном заведении, основанном в 1813 году. Читатели ждут от него продолжения «Вечеров на хуторе...», но Гоголь старается уйти от прежних приемов и расширить материал — хотя поездка в Миргород в 1832 году дала ему новые впечатления. Фактически Гоголь начинает новый период в своем творчестве. «Миргород» написан

одновременно с первыми «петербургскими повестями», вошедшими в «Арабески».

КАК ОНА НАПИСАНА?

Разнообразие жанров предопределяет и разный подход к материалу. У книги нет единого рассказчика, в отличие от «Вечеров на хуторе...». В «Старосветских помещиках» и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» повествователь — предполагаемый знакомый героев. В «Иван Ивановиче и Иване Никифоровиче» он максимально удален от автора, вписан в мир обывательских взаимоотношений и говорит соответствующим языком. Здесь Гоголь использует сказ — особый прием повествования, воспроизводящий чужую устную речь. В «Тарасе Бульбе»



Н. Гоголь «Миргород». Первое издание.
Часть вторая. 1835 год

повествователь — современный Гоголю образованный человек, почти сливающийся с автором. Но рассказанная им история носит возвышенно-эпический и, следовательно, архаический характер. Поэтому текст оказывается внутренне противоречивым: эпос с его цельностью то и дело подвергается рефлексии взгляду человека Нового времени, который фиксирует пороки и преступления эпических героев, — но сама героичность этих людей не оспаривается. Это предопределило сложное отношение к «Тарасу Бульбе» читателей XX–XXI веков. Так же противоречив «Вий»: «народное предание» пересказывается не «в простоте своей», вопреки авторскому примечанию, а языком писателя XIX века, внимательного к подробностям и полного иронии по отношению к своим персонажам.

Общие же стилистические черты характерны для всего творчества Гоголя: острое внимание к материально-физиологической стороне жизни, когда описание то и дело доводится до гротеска и подчеркивает комическую или мистическую сторону; склонность к гиперболам; пафосные периоды, которые либо переходят в глумливую пародию, либо иронически перелицовываются на соседних страницах; контрастность, отсылающая к культуре барокко (она оставила яркий след именно на Украине).

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Источники влияний в «Миргороде» весьма разнообразны. Так, например, «Старосветские помещики» — явная вариация на тему мифа о Филемоне и Бавкиде и, возможно, его отражение во второй части «Фауста» Гёте. Исследователь Александр Карпов

видит в повести также ироническое снижение романтического мотива «загробной любви»: он упоминает, например, повести Михаила Погодина («Адель»), Николая Полевого («Блаженство безумия»), Егора Аладына («Брак по смерти»).

Источниками «Тараса Бульбы» послужили исторические документы — «Описание Украины» Гийома Левассёра де Боплана, «История о казаках запорожских» князя Семена Мышецкого, украинские летописи Самовидца, Самуила Величко, Григория Грабянки. Вместе с тем в этой повести (как и во многих исторических повестях той эпохи) ощущается влияние романов Вальтера Скотта. Впрочем, филолог Марк Альтшуллер оспаривает связь повести Гоголя с вальтер-скоттовской традицией: внутренние противоречия описываемой реальности не находят в повести разрешения (как это происходит у шотландского писателя).

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» восходит к повести Василия Нарезного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (1825); литературовед Михаил Вайскопф находит в повести множество других влияний и скрытых цитат — от «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха до «Разговора пяти путников о душевном мире» Григория Сковороды и басни Ивана Хемницера «Два соседа» (1779). Ирина Александрова добавляет в этот список пьесу Александра Шаховского «Ссора, или Два соседа» (1810).

Влияние «Двух Иванов» Нарезного прослеживается также в «Вии». Еще заметнее влияние другой повести Нарезного — «Бурсак» (1824). Наконец, в «Вии» явным образом отразилась гофмановская традиция — как и во многих других произведениях Гоголя.

Нельзя недооценивать и роль фольклорных источников (в «Вии»), а также личных впечатлений и историй, услышанных от современников. Например, история смерти Пульхерии Ивановны после появления сбежавшей кошки в «Старосветских помещиках» основана на рассказе актера Михаила Щепкина о смерти его матери. Однако сюжет с дикими котами, к которым прибилась кошка, плод фантазии самого Гоголя, пародирующего романтические стереотипы.

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» была напечатана в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье» (часть 2, 1834) с подзаголовком «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька» — то есть рассказчика «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Все остальные повести впервые увидели свет уже в сборнике «Миргород», вышедшем в свет в феврале 1835 года — всего через месяц после «Арабесок». Замечу, что в «Арабески» наряду с петербургскими повестями «Портрет», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего» вошли две главы из неоконченного романа «Гетьман», посвященного украинской истории, а среди многочисленных статей сборника есть и «Взгляд на составление Малороссии», и «О малороссийских песнях». Но по значимости эти «украинские» тексты уступают повестям, вошедшим в «Миргород».

Впоследствии часть текстов «Миргорода» подверглась существенной переработке. В особенности это относится

к «Вию» — и, конечно, «Тарасу Бульбе» (в 1842 году повесть была, по сути, написана заново).

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

На публикацию в «Новоселье» «Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича» отзывался Осип Сенковский («Библиотека для чтения», 1834, т. 3). Он сравнил «Рудого Панька» с французским писателем Полем де Коком: «Он с большою ловкостью списывает портреты лиц известного класса и умеет представлять их забавными без натяжки и без сатиры; чувство и веселость оживляют его страницы, на которых нередко встречаешь весьма удачные выражения и мысли... Главный недостаток творений Поль де Кока — это выбор предметов повести, которые всегда почти у него грязны и взяты из дурного общества. Этот недостаток г. Панько-Рудый разделяет с ним в полной мере».

В отзыве о «Миргороде» («Библиотека для чтения», 1835, т. 9) Сенковский отмечает «Тараса Бульбу» и «Старосветских помещиков», в которых «есть чувство», повторяет свои суждения об «Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче» и негативно оценивает «Вию»: «В “Вии” нет ни конца, ни начала, ни идеи, — нет ничего, кроме нескольких страшных, невероятных сцен. Тот, кто списывает народное предание для повести, должен еще придать ему смысл: тогда только оно сделается произведением изящным. Вероятно, что у малороссиян “Вий” есть какой-нибудь миф, но значение этого мифа не разгадано в повести».

Степан Шевырев в «Московском наблюдателе» (кн. 2, 1835, март), напротив,

высоко оценил «Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича» как юмористическое произведение: «Мы не знаем, где-то, в каком углу Малороссии, в Миргороде или в Диканьке, автор этих хохотливых вечеров отрыл клад, до сих пор в такой степени еще невиданный в нашей литературе: это клад простодушного, искреннего, ни у кого не занятого и неистощимого смеха». В то же время, говоря о «Старосветских помещиках», он отмечает: «Эти два лица старика и старушки, эти два портрета служат явным обличием тем критикам, которые ограничивают талант автора одною карикатурою. Автор изобразил нам их не с одной смешной стороны». Здесь — явный ответ Сенковскому. Впрочем, как и Сенковский, Шевырев восхищается «Тарасом Бульбой», заявляя, что «это есть одно из тех созданий, которые отмечены печатью народности и глубоко нарезываются на воображении читателя. Яркая картина Запорожья свежа, нова и исполнена какого-то удалого разгулья казачьего». «Вий» кажется ему, как и Сенковскому, слабым: хваля описания быта семинаристов, он находит неубедительной фантастическую часть.

Замечу, что изображение семинарии в «Вии» позднее резко осудил Николай Греч: «...В каком странном виде представлено в ней одно из полезнейших и важнейших учебных заведений России, в котором образовались многие, не только достойные уважения, но и действительно великие люди. Мы видим в этих картинах забавную карикатуру, а иностранцы принимают все это за чистые деньги» («Северная пчела», №57, 1846, 12 марта). Негативная реакция на повести Гоголя в бульварно-консервативном журнале, враждебном

«пушкинской» литературной партии, издателями которого были Фаддей Булгарин и Греч, предсказуема.

Самый известный отзыв о «Миргороде» — статья Виссариона Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя». Противопоставляя Гоголя как певца прозаической действительности выпрненным романтикам вроде Бестужева-Марлинского, Белинский рассматривает и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» не как чисто юмористический текст: «В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностью и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: “Скучно на этом свете, господа!” — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия!»

Столь же парадоксальным видится ему сюжет «Старосветских помещиков»: «Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни животной, уродливой, карикатурной и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодя-наследника, промотавшего достояние двух простаков».

О «Тарасе Бульбе» он говорит почти в тех же выражениях, что другие критики, в «Вие» высоко оценивает бытовую часть, но, как и все прочие рецензенты, отмечает «неудачу в фантастическом». В целом же Белинский высоко оценивает «народность», «оригинальность» и «лиризм» писателя.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

У каждой из повестей — своя судьба и своя история интерпретаций. Включенный в дореволюционный, а затем в советский школьный канон «Тарас Бульба» в то же время вызывал резкое отторжение в польской культурной среде (до недавнего времени не существовало ни одного перевода этой повести на польский язык; в противовес ей написан роман Генриха Сенкевича «Огнем и мечом»). Резкие отзывы о повести принадлежат также еврейским авторам (в том числе Владимиру Жаботинскому). Впоследствии возник вопрос о принадлежности «Тараса Бульбы» (больше, чем какого-либо другого произведения Гоголя): повесть относится к русской или к украинской культуре?

Сложной была история интерпретаций «Вия». В отличие от современников Гоголя, исследователи модернистской эпохи (от Иннокентия Анненского до Алексея Лосева) придавали главное значение не реалистическим, а фантастическим эпизодам повести, которые для них наполнялись мистическим и философским смыслом. Своеобразной ответной репликой на «Вия» видится повесть Даниила Хармса «Старуха» (1939). А в советское время исследователи пытались рассматривать повесть как антирелигиозное произведение; имели место и фрейдистские интерпретации (Иван Ермаков).

Не раз экранизировались и «Тарас Бульба» (в 1909-м в Российской империи, в 1962-м в СССР и в 2009-м в России, в том же году на Украине, многократно в других странах), и «Вий» (в 1967-м). Дважды (в 1941 и 1959 годах) были сняты фильмы и по «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

При интерпретациях «Старосветских помещиков» делался акцент то на лирическом, то на сатирическом аспектах. Второй аспект стал основой для повести грузинского писателя Ильи Чавчавадзе «Человек ли он?» (1863). Чавчавадзе описывает немолодую, праздную, равнодушную друг к другу помещичью семейную пару. Ни в их отношениях, ни в характерах нет ничего, что вызывало бы лирические или сентиментальные чувства. Отсылки к «гастрономически-идиллическим» мотивам повести есть в романе Гайто Газданова «История одного путешествия» (1935). Николай Коляда написал пьесу по мотивам «Старосветских помещиков» (1998), а ранее, в 1979 году, был поставлен телеспектакль (режиссер Давид Карасик). В 2008-м Мария Муат сняла кукольный мультфильм.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ «МИРГОРОД»?

Миргород получил статус города в 1575 году и в течение всего XVII века постоянно оказывался в гуще русско-польско-казацких войн, несколько раз был сожжен. Миргородский реестровый казачий полк участвовал в восстании Острянина и Гуни (1638), события которого легли в основу «Тараса Бульбы», и был за это расформирован. В XVIII веке он был крупным торгово-ремесленным

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротой и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владельцев так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежою травкою, с протоптанною дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, — всё это для

меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило всё то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владельцы этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя по крайней мере на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь^{*1}.

Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображаю себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, — и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.

Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружающих мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом^{*2}, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась;

^{*1} Простая жизнь на лоне природы.

^{*2} Шерстяная материя.

но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, —ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые, фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на *о*, слог *въ*. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.

Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточилась на них же самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере никогда не говорил.

Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками,

а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.

Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, хлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержался с такою опрятностию, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.

Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетия, были уложены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала всё, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.

Но самое замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, — но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!

Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доньше садятся архиереи. Треугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, — вот всё почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.

Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было.

На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.

Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрепятственном отпирании и запираании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике*¹ водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы,

*¹ Сосуд для приготовления водки.

наконец, весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила готовить еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.

В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом^{*1}, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделявали множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам. Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними.

— Отчего это у тебя, Ничипор, — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся, — дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки.

— Отчего редки? — говаривал обыкновенно приказчик, — пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили, — пропали, пани, пропали.

Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль.

Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, а что с бар будет довольно и половины; наконец и эту половину привозили

^{*1} Староста.

они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, — но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.

Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофий. Напившись кофию, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.

После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

— А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

— Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибами, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

— Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибами и подлейте к ней.

— Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, как оно будет.

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

— Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

— Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине, — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, — бывает, что и красный, да нехороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетках, ночевках^{*1} и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:

— Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

^{*1} Лоток.

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

— И то добре, — отвечал Афанасий Иванович.

— Или, может быть, вы съели бы киселику?

— И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо.

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал.

Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

— Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

— Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, — говорил Афанасий Иванович.

— А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?

— Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?

— Кислого молочка или жиденького узвару*¹ с сушеными грушами.

— Пожалуй, разве так только, попробовать, — говорил Афанасий Иванович.

Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:

— Теперь так как будто сделалось легче.

Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.

*¹ Компот из сухофруктов.